

Лев Николаевич Толстой

Свечка

*Вы слышали, что сказано:
око за око и зуб за зуб.
А я говорю вам:
не противься злему.
(Мф. V; 38, 39,)*

Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и Бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было.

Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине. Земли было много, и земля была добрая; и воды, и луга, и леса, всего бы всем достало — и барину и мужикам, да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины.

Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный — жена и две дочери замужем — и нажил уж он денег: жить бы да жить ему без греха, да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод, всех — и баб и мужиков — поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Прознал приказчик, что ходили мужики жаловаться, и стал им за то вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди: стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. И спутался весь народ, и обозлился приказчик.

Дальше да больше, и дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка, хоронятся, кто куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик и еще пуще злился за то, что бояться его. И битьем и работой донимал народ, и много от него муки приняли мужики.

Бывало, что и изводили таких злодеев; и про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее и говорит: “Долго ли нам терпеть злодея нашего? Пропадать заодно — такого убить не грех!”

Собрались раз мужики в лесу до святой: лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать.

— Как нам, — говорят, — теперь жить? Изведет он нас до корня. Замучил работой: ни дня, ни ночи ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть что не по нем, придерется, порет. Семен от его поронья помер. Анисима в колодках замучал. Чего ж еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать, — только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку, и концы в воду. Только уговор: всем стоять заодно, не выдавать!

Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарки взял.

Поговорили так мужики, и приехал на вечер приказчик. Приехал верхом, сейчас придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку.

— Я, — говорит, — не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, а то всех заporю!

Стал добираться, в чьем ряду липа. Показали на Сидора. Исколотил приказчик Сидору все лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой.

Сошлись опять вечером мужики, и стал говорить Василий:

— Эх, народ! Не люди, а воробьи. “Постоим, постоим”, — а пришло дело, все под застреху. Так-то воробьи против ястреба собирались: “Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!” А как налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил, какого ему надо, поволок. Выскочили воробьи: “Чивик, чивик!” — не досчитываются одного. “Кого нет? Ваньки. Э, туда ему и дорога. Он того и стоит”. Так-то и вы. Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы бы сгрудились, да и покончили. А то: “Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!” — а как налетел, так и в кусты.

Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам, и собрались они на Страстной у Василья на задворке и опять стали толковать.

— Коли он Бога забыл, — говорят, — и такие дела делать хочет, надо и вправду его убить. Пропадать заодно!

Пришел к ним и Петр Михеев. Смирный был мужик Петр Михеев и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит:

— Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает — перед ним худое. Терпеть, братцы, надо.

Рассердился на эти речи Василий.

— Заладил, — говорит, — одно: грех человека убить. Известно — грех, да какого, — говорит, — человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и Бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи. Не убить его — грех больше будет. Что он людей перепортит! А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут. А слюни-то распусти, он всех перепортит. Пустое ты, Михеич, толкуешь. Что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник все работать пойдем? Ты сам не пойдешь!

И заговорил Михеич.

— Отчего не пойти? — говорит. — Пошлют, и пахать поеду. Не себе. А Бог узнает, чей грех, только нам бы его не забыть. Я, — говорит, — братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от Бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить — душу себе окровенить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится.

Так и не договорились мужики: разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровы речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть.

Отпраздновали мужики первый день, воскресенье. На вечер приходит староста с земским с барского двора и сказывают — Михаил Семеныч, приказчик, велел назавтра наряжать мужиков, всем пахать под овес. Обошел староста с земским деревню, повестил всем назавтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а послушаться не смеют, наутро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет, — мужики пашут.

Проснулся Михаил Семеныч, приказчик, не рано, пошел по хозяйству; убрались, нарядились домашние — жена, дочь вдовая (к празднику приехала); запряг им работник тележку, съездили к обедне, вернулись; поставила работница самовар, пришел и Михаил Семеныч, стали чай пить. Напился Михаил Семеныч чаю, закурил трубку, позвал старосту.

— Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту?

— Поставил, Михаил Семеныч.

— Что, все выехали?

— Все выехали, я всех сам расставлял.

— Расставить-то расставил, да пашут ли? Поезжай посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сохи выпахали, да чтоб пахали хорошо! Если огрех найду, я на праздник не посмотрю!

— Слушаю-с.

И пошел было староста, да Михаил Семеныч вернул его. Вернул его Михаил Семеныч, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как. Помялся, помялся, да и говорит:

— Да вот что, послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня. Кто ругает и что говорит — все мне Расскажи. Я их, разбойников, знаю, не люблю им работать, только бы на боку лежать, лодырничать. Жрать да праздновать — это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты и отслушай от них речи, кто что скажет, все мне передай. Мне это знать надо. Ступай да смотри все Расскажи, ничего не утаивай.

Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле.

Услыхала приказчица мужнины речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была женщина смиренная, и сердце в ней было доброе. Где могла, усмиряла мужа и застаивала перед ним мужиков. Пришла она к мужу и стала просить.

— друг ты мой, Мишенька, — говорит, — для великого дня, праздника Господня, не грехи ты ради Христа, отпусти мужиков.

Не принял Михаил Семеныч жениных речей, только засмеялся на нее.

— Али давно, — говорит, — по тебе плетка не гуляла, что ты больно смела стала, — не в свое дело вяжешься?

— Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков!

— То-то, — говорит, — я и говорю: видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет. Смотри!

Рассердился Семеныч, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать.

Поел Михаил Семеныч студню, пирога, шей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать.

Сидит Михаил Семеныч с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, поклонился и стал докладывать, что на поле видел.

— Ну что, пашут? Допашут урок?

— Уж больше половины вспахали.

— Огрехов нет?

— Не видал, хорошо пашут, боятся.

— А что, разборка земли хороша?

— Разборка земли мягкая, как мак рассыпается.

Помолчал приказчик.

— Ну, а что про меня говорят, — ругают?

Замялся было староста, да велел Михаил Семеныч всю правду говорить.

— Все говори, ты не свои слова, а ихние говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь их, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости.

Пошла кухарка, поднесла старосте. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. “Все одно, — думает, — не моя вина, что не хвалят его; скажу правду, коли он велит”. И осмелился староста и стал говорить:

— Ропщут, Михаил Семеныч, ропщут.

— Да что говорят? Сказывай.

— Одно говорят: он Богу не верует.

Засмеялся приказчик.

– Это, – говорит, – кто сказал?

– Да все говорят. Говорят, он, мол, нечистому покорился.

Смеется приказчик.

– Это, – говорит, – хорошо. Да ты порознь расскажи, что кто говорит. Васька что говорит?

Не хотелось старосте сказывать на своих, да с Василием у них давно вражда шла.

– Василий, – говорит, – пуще всех ругает.

– Да что говорит-то? Ты сказывай.

– Да и сказать страшно. Не миновать, – говорит, – ему беспокаянной смерти.

– Ай, молодец, – говорит. – Что ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки не доходят? Ладно, – говорит, – Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, а Тишка-собака, тоже, я чай?

– Да все худо говорят.

– Да что говорят-то?

– Да повторять-то гнусно.

– Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать.

– Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла.

Обрадовался Михаил Семеныч, захохотал даже.

– Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка?

– Да никто доброго не сказал, все ругают, все грозятся.

– Ну, а Петрушка Михеев что? что он говорит? Тоже, говняк, ругается, я чай?

– Нет, Михайло Семеныч, Петра не ругается.

– Что ж он?

– Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик! Подивился я на него, Михаил Семеныч!

– А что?

– Да что он сделал! И все мужики дивятся.

– Да что сделал-то?

— Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятина у Туркина верха пашет. Стал я подъезжать к нему, слышу — поет кто-то, выводит тонко, хорошо так, а на сохе промеж обжей что-то светится.

— Ну?

— Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю — свечка восковая пятикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает и отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет!

— А сказал что?

— Да ничего не сказал. Только увидел меня, похристосовался и запел опять.

— Что же, говорил ты с ним?

— Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться: вон, говорят, Михеич ввек греха не отмолит, что он на Святой пахал.

— Что ж он сказал?

— Да он только сказал: “На земле мир, в человецех благоволение!” — опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет.

Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался.

Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес, лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воз со снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать; не дал ей ответа. Только и сказал:

— Победил он меня! Дошло теперь и до меня!

Стала его жена уговаривать:

— Да ты поезжай, отпусти их. Авось ничего! Какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так оробел?

— Пропал я, — говорит, — победил он меня.

Крикнула на него жена:

— Заладил одно: “Победил, победил”. Поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать.

Привели лошадь, и уговорила приказчица мужа ехать в поле отпустить мужиков.

Сел Михаил Семеныч на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидел народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды.

Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтоб ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться, да испугалась лошадь свиньи, шарахнулась в частокол, а человек был грузный, не попал на седло, а перевалился пузом на частокол. Один был только в частоколе кол, заостренный сверху, да и повыше других. И попади он пузом прямо на этот кол. И пропорол себе брюхо, свалился наземь.

Приехали мужики с пахоты; фыркают, нейдут лошади в ворота. Поглядели мужики – лежит навзничь Михаил Семеныч, руки раскинул, и глаза остановились, и нутро все на землю вытекло! и кровь лужей стоит, – земля не впитала.

Испугались мужики, повели лошадей задами, один Петр Михеич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер, закрыл ему глаза, запряг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому.

Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк.

И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила Божия.